

ПЕРВЕНЕЦ

Лида в который раз пыталась сложить ноги поудобнее. Никак не получалось найти нужную позу. Разозлилась, резко встала, но голова закружилась. Снова села на край кровати, начала раздражённо постукивать по холодному металлическому изголовью. Решётки... Везде решётки: на окнах, на кроватях, ещё бы шкафы решётчатые сделали... Ходить от окна до двери надоело. Стала расковыривать трещину в штукатурке на стене. Потом вдруг почувствовала очередные толчки. Подняла футболку и уставилась на свой живот, на котором то появлялись, то исчезали бугорки.

Там что-то происходило. Что-то, что раньше не касалось Лиды. А последние два дня её лишили всего остального мира, и вот она осталась наедине с этими толчками.

Накануне тощая медсестра ставила Лиде капельницу и, видно, от скуки спросила, мол, как зовут. Лида не сразу поняла, про кого она. Та кивнула на живот: “Назовёшь как?” Лида удивлённо разглядывала мужеподобную тётку: сухая, с одутловатым алкогольным лицом и короткой стрижкой под ёжик. Алкоголиков Лида определяла легко, даже тех, кто работал и выглядел прилично. Тётка смотрела безразлично, двигалась, как робот. А потом сказала, что надо разговаривать с ребёнком, чтобы слышал голос. Лида только и смогла промямлить: “А о чём?” Медсестра уставилась на Лиду стеклянными глазами: “О погоде”.

И вот ребёнок там снова шевелился. Кто его знает, просит что-то или просто переворачивается. У него уже есть руки и ноги, наверное... А волосы? Они с волосами рождаются или лысые? Да какая разница. Лида старалась отгонять эти мысли. Они приводили всё к новым и новым вопросам. А в конце — в конце вообще непонятно. Несколько месяцев получалось об этом не думать. Лида жила с ощущением, что можно будет задуматься потом, что ещё есть время. И вот это “потом” настало. А думать совсем не хотелось. От мыслей в голове начало пульсировать, хотелось бежать отсюда скорее... Лида снова уперлась взглядом в решётку на окне.

Через три дня она неспешно поднималась по лестнице женской консультации, поторапливаемая Алевтиной — тучной социальной работницей, которая резво семенила, хоть и краснела всё гуще с каждым пролётом. Они опаздывали. Лида специально тянула время при выходе из центра и здесь, в холле поликлиники.

Врачиха приняла вне очереди, хотя и была недовольна. Лида разглядывала непонятные картинки на стенах: развитие плода по месяцам. Фотография девушки на плакате была дополнена рисунками наподобие иллюстраций школьных учебников. Лицо девушки не менялось, а живот становился всё больше, эмбрион увеличивался и менял положение. Лиду затошнило. Ей казалось, он какой-то уродливый, скрюченный. Такие кривые ноги наверняка не смогут ходить. Похоже, он был слепым! Лида взглянула на лицо девушки: та выглядела счастливой. С чего бы?

— Так... значит, постановка на учёт, — услышала Лида голос врачихи. — Ты бы ещё на сороковой неделе пришла...

— Да вот как её привезли, так мы сразу к вам, — вступилась ещё не отдышавшаяся Алевтина.

Доктор смерила социального работника недовольным взглядом.

— Где до этого была? Где наблюдалась?

— Да так... — Лида ощутила подкатывающую тошноту, ладони вспотели. Хоть бы отвлечься. Мерзко. Тяга пошла. Сбежать бы скорее, да куда тут. Живот разросся. Жирная утка. Надо хитростью. Как из больницы. Думай. А чем думать, мозг не варит. Сейчас бы хоть один укольчик, хоть маленький. Просто, чтоб в себя прийти.

— Доктор, там выписка из детдома. Она как из больнички-то сбежала зимой, так вот её всё искали.

— Я вообще-то не пряталась! — огрызнулась Лида. — В детдоме знали, где я была. Им лень приезжать было.

— Сиди уж! — шикнула Алевтина.

— Ну и где же ты была всё это время? — доктор смотрела мягче, как будто озадаченно. Переводила взгляд с Лидиногo живота на теребящие край футболки пальцы.

— У молодого человека... своего.

— Молодой! — фыркнула Алевтина. — Сорок шесть лет — юнец просто! Уж ты, Лида, давай тут дуру-то не валяй! Время не тяни. Некогда доктору твои сказки слушать! Наркоманила, так и говори, теперь вот и расхлёбываешь своё! А этого твоего упечь бы пожизненно за такие дела, так ведь никто не займётся! Сам наркоман паршивый, и девку за собой уволок!

Медсестра оторвалась от талончиков и нерешительно взглянула на врача. Та, опустив взгляд, чуть хрипло сказала:

— Алина, сходи-ка... К-хм, сходите, пожалуйста, с социальным работником к заведующей, надо оформить документы на государственного ребёнка и рецепты на витамины и молоко.

Медсестра поднялась:

— Идёмте, я вас провожу. Девочка несовершеннолетняя, нужно ваше согласие, как представителя опекуна.

— Да, — окликнула врач. — Потом ждите в коридоре, осмотр буду проводить без посторонних.

— Да я что, я с радостью! Вот только за ней, доктор, глаз да глаз нужен! Вы учтите, из наркологички сбежала, из приюта сбежала, а нам вот теперь отвечай!

— Я поняла, идите.

Врач замолчала. Уставилась куда-то, так и замерла. Потом как будто заметила Лиду и немного нахмурилась.

— Значит, срок беременности не точный?

— Ну да.

— А почему до этого никуда не обратилась? Или обращалась?

— Да как-то не до этого. Виталик сказал, рожай.

— Виталик — это тот мужчина, который старше тебя?

— Да. Наркоман.

— Ты... тоже употребляешь?

— Да. — Лида отвечала быстро, на выдохе, не дослушав вопрос. За последнюю неделю посещения всех этих детских комнат, приютов, инстанций она повторяла свою историю не раз.

— Значит, и во время беременности?

— Да.

— Внутривенно? Как часто?

— Раза три-четыре в неделю, — все так же быстро, пока не передумала говорить, как есть.

— Как насчёт стерильности?

— Плохо. Там вон в карте есть все анализы.

Только сейчас врач посмотрела на кипу бумажек, разложенных у неё на столе. В анамнезе значился ВИЧ положительный, впервые выявленный два года назад.

— Это он тебя наградил или кто-то ещё?

— Не, наверное, кто-то ещё. Виталик говорит, он чистый.

— В смысле: говорит? Ты анализы его видела?

— Не-а. А зачем ему врать. Это ж он хотел ребёнка.

— Если ты от него забеременела, то теперь он тоже инфицирован.

— Да?

Врачиха внимательно взглянула, помолчала.

— Так, а что ты думаешь с родами? Тебя вообще кто-то консультировал за это время? Хоть один врач?

— Нет. Я у Виталика жила. Я же сказала. Он говорит, рожай, деньги будут.

— Он говорит, рожай... — эхом повторила врач. — Так, ладно. Нам надо с тобой многое успеть обсудить. Давай попробуем поговорить честно.

— Да я и не вру. Чё теперь врать-то. Только пить очень хочется.

— Сейчас мы обсудим, и пошёл в коридоре. Лида, твой ребёнок может заразиться от тебя ВИЧ-инфекцией. Но если приложить усилия, он может родиться относительно здоровым.

— Да какой он здоровый, он же уже наркоман там, да? Как я.

— Сейчас речь не об этом. Если сделать кесарево сечение, то риск заражения во время родов значительно снижается. То есть если мы проведём операцию, то он может родиться без ВИЧ, понимаешь?

— А это больно?

— Нет, операция проводится под наркозом и быстрее обычных родов. Потом чуть дольше восстанавливаться, но нам важно сейчас думать не об этом.

— Ну да, я согласна. Только вон соцработники, они же вроде все теперь решают, мне нет восемнадцати.

— Решать будем мы с тобой. Но здесь есть одно “но”. Операцию нужно успеть сделать до начала схваток. Обычно на тридцать восьмой неделе. Пока мы не знаем, какой у тебя срок. Но учитывая твои побеги...

— Что?

— Ты сможешь дотерпеть до тридцать восьмой или опять убежишь?

Лиде не хотелось врать. Врачиха первая за эту неделю, кто хотя бы не пилил, не давил на вину. Хотя у Лиды уже выработался иммунитет к таким разговорам, но чего она только не наслушалась и в полиции, и в детском доме. А ведь какое их дело...

— Да куда тут сбежишь, я вон едва хожу.

— Человек *зависимый* может убежать и при более сложных обстоятельствах... — она недолго помолчала и продолжила как будто сама с собой. — Я видела молодого человека, который из реабилитационного центра сбежал, сломав ногу, когда выпрыгнул из окна. Это не помешало ему бежать дальше и ещё две недели лежать в притоне с распухшей посиневшей ногой, пока не нашли.

— Ни фиги себе! — Лида было ухмыльнулась, но доктор посмотрела на неё как-то странно, скривившись, как от боли.

— Лида... А ты сама-то хотела рожать?

Лида постаралась отвечать так же на выдохе, быстро и по делу. Но с каждым разом говорить становилось сложнее. Почему-то с соцработниками и их нотациями было проще. Они обвиняли, Лида огрызалась. Злиться было проще. А сейчас, когда врачиха говорит “мы” и “нам”... Как бы не разревётся.

— Сейчас, конечно, ничего уже не изменишь. Надо будет рожать. Судя по размеру, тебе осталось немного. Как я понимаю, до этого родов у тебя не было. А аборт или выкидыши?

— Ну... чтобы у гинеколога делали аборт — нет.

— В смысле?

— Был один. Мать таблетки купила.

— Ты имеешь в виду не операционный, а медикаментозный аборт? Давно?

— В одиннадцать. Только я не знаю, это беременность была или просто.

— А зачем тогда таблетки, если не точная беременность?

— А мамкин сожитель меня изнасиловал со своим другом. Она тогда отрубилась от героина. А они того. Она проснулась, ну и поняла. Наорала на него. И в аптеку со мной потащила. Мать сказала, что на всякий случай, а то мало ли: забеременеть от таких...

— Господи, в одиннадцать...

— Да это давно уже было, не переживайте. Мать его выгнала, но он нам денег дал тогда много. Правда, мамка, наверное, их все спустила, я не помню. Потом меня бабка к себе забрала. А этот мужик снова к матери переехал.

— И в милицию не заявляли?

— Не-а. Мамка сказала никому не рассказывать. Ещё меня обругала: вечно я дома ошиваюсь, вот и неприятности. Я только года два назад рассказала психологу в приюте. Она говорит, наверное, потому я к мужикам старым и бегаю, что у меня вроде как травма.

Лида тараторила всё быстрее. Она ничего не чувствовала, когда это рассказывала. Но обычно те, кто слушал, ужасались или почти плакали. Странно было это видеть и ничего не ощущать...

В дверь заглянула Алевтина:

— Доктор, я всё оформила. Мне чего с ней, на УЗИ еще? Это мне сейчас талон взять в общую очередь или нам приехать в другой день? Нам бы лучше сейчас, а то сбежит опять, она ведь беглая у нас, даже не думает, что беременная! А у нас машина одна. Таких, как она, ещё пятнадцать девок. Только поумнее.

Доктор раздражённо подняла глаза.

— Ждите в коридоре. — Потом посмотрела на Лиду. — Тебе, получается, больше некуда пойти, только к ним? Они ж тебя съедят своими нравочениями... Может, есть сестры или тётки? Не хотелось бы, чтобы их нотации спровоцировали тебя на побег. И здоровым самостоятельным женщинам иногда беременность даётся нелегко, особенно когда вокруг некому пожаловаться. Здесь у меня часто ноют. А тебе, несовершеннолетней, без семьи, с постоянными мыслями о наркотиках... Их упрёки могут тебя окончательно измотать, не выдержишь — уйдёшь ведь...

Зря она сказала про упрёки. Копившееся за последнюю неделю напряжение, наконец, прорвалось слезами. Рыдать или подвывать Лида разучилась давно: через год, как забрали от матери. Видимо, прорыдала всё там, в первом ещё приюте. Но сейчас так жалко себя стало, оттого что идти некуда, и даже единственную радость — героин — отобрали. А там, на свободе, Виталик гуляет, и ему хорошо...

— Да они мне всю неделю мозг пият, какая я бесстыжая. И запугивают, что ребёнок будет больной, оттого мне придется труднее, чем другим девочкам — с инвалидом на руках. А я сама виновата, потому что бессовестная, убивать ребёнка наркотиками. Ещё всё время водят на беседу с какой-то настоятельницей. Она меня пугает, как надо будет ребёнка воспитывать. Что Бог дал мне ребёнка, чтобы я жизнь поменяла. И если даст больного, то чтобы грехи мои искупать мучениями... А и так жить тошно! Сил нет, ходить тяжело. Как я с ним потом — я же вообще ничего не знаю! Я не хочу никого растить, я плохая мать буду, у нас в роду не было хороших!

Врач встала. Налила в стакан воды из-под крана.

— На, попей. — Она подошла так близко, как будто вот-вот обнимет. Лида невольно отстранилась, но доктор только отдала стакан и отошла к окну. — Поплачь, Лида. Тебе можно. Ты беременная. Ты умничка... — Потом они долго молчали. Врачиха о чём-то своём у окна. А Лида всё никак не могла унять слёзы: только вытрет, а они снова.

— Всё у нас получится. Сейчас бумаги оформим, сходим вместе на УЗИ и посчитаем, сколько нам нужно дотянуть до кесарева. Всем беременным тяжело, тебе тем более. Поплачь, может, хоть чуть полегче станет.

Она вернулась за стол, когда Лида перестала всхлипывать.

— Давай мы с тобой договоримся. Я знаю... ждатель обещаний от наркомана — дело глупое. Я и не прошу. Давай мы просто договоримся, что ты попробуешь дотянуть до кесарева. Ведь если ты убежишь, Лида, ты не вернёшься. Мы же обе понимаем, где ты будешь. И будешь там прятаться до самых схваток. А там поздно будет оперировать. Да и роды для тебя будут тяжёлым испытанием. Это физически тяжело.

— Да я понимаю. Я не сбегу.

— Ты просто постарайся поставить себе одну цель. Ничего большего. Очень прошу, не думай, оставишь малыша себе или нет. Ты уже дала этому ребёнку, что могла. Лучшее, что ты можешь сейчас сделать — попробовать помочь ему родиться без ВИЧ-инфекции. А уж будут силы или нет, захочешь ли воспитывать — это ты станешь решать сама, в любой момент. Поняла меня? В лю-бой!

— Да вроде. Но они говорят: потом — привязанность... Сама не откажусь. Правда, я совсем не понимаю, что надо будет делать... Как это... Там, конечно, в центре помогают, но они запугивают, что ночи бессонные, и что никто за меня ничего делать не будет, притворщицам-наркоманкам не верят... — Лида снова почувствовала, что ревьёт. Это было так непривычно. Наверное, первый раз за последние полтора года. И как будто легче от этого становилось. Хотелось плакать и плакать.

— Так, Лида, соберись. Ты забыла, о чем мы договорились. Наша цель — просто дотянуть до кесарева. И всё. Дальше — даже не думай ни о чём. Болтают эти соцработники, а ты не слушай, кивай просто. А сама думай — мне бы только до кесарева, а там выдохну. Поняла меня? Твой финиш — кесарево, всё.

— Угу, — прошмыгала Лида.

То ли от слёз, то ли от тона доктора, но ей как будто стало легче. Начал рассеиваться жуткий страх от слов “будущая мама”. Эти навязчивые картинки больного скрюченного младенца. Если только до кесарева — можно попробовать. Тем более, если под наркозом. А то эта монашка как затянет своё про муки роженицы, аж до дурноты. Половину слов не понять, что-то про грехи... Стоп, не думать... Надо не думать. Как врачиха сказала: просто кивать и всё. Надо попробовать.

— Ну что, сейчас сходим с тобой на УЗИ, и поедешь отдыхать. Тебе нужно сейчас побольше отдыхать и научиться играть в глухую. У тебя важная миссия: дотянуть до кесарева.

— А это... осмотр?

— Да какой осмотр на твоём сроке. Только УЗИ теперь и померить живот. Это я так, чтобы выпроводить твою надзирательницу.

Они прощались после выхода из кабинета УЗИ. — Тридцать три недели, девочка. По УЗИ пока без явных патологий.

— Спасибо, — Лида не знала, как завершить разговор. — Мне ещё к вам прийти... можно? То есть... это... надо ещё?

— Да, Лида. Тебя должны привезти через десять дней, тогда будут готовы анализы, и мы всё обсудим. Береги себя, отдыхай. Жду тебя через десять дней, постарайся приехать.

— Спасибо... что поговорили...

Доктор кивнула и двинулась дальше по тусклому коридору. Сначала хотела было отвести в сторону сотрудника на пару слов: попытаться объяснить ей, что давить на Лиду сейчас нельзя. Иначе точно сбежит. Да и что за бред: оставить новорождённого Лиде. Девочка ведь малышка к себе в притон потащит... Но потом поймала себя на мысли, что снова начинает играть в спасателя. Где она — грань бессилия и безразличия... Где грань чужой и своей истории...

Она открыла дверь в туалет. Никого. Подошла к наполовину закрашенному окну и открыла тугую форточку. Задышалось легче. Достала телефон, пролистала недавние вызовы... Не нашла. Набрала ручную цифры. Телефон высветил “Лёшенька”... Никто не отвечал. Она начала набирать сообщение, но после слова “сын” не смогла ничего написать... Где ты... как нога... приезжай... возвращайся... Всё это было не то. Ответа она не получит.

Она родила своего первенца в тридцать четыре года... “старородящая”... Родила здоровенького, красивого мальчишку... В детском саду он заболел гломерулонефритом, стал инвалидом, набрал огромный вес, почти не мог ходить... Пять лет она практически носила его на руках, лежала с ним по больницам, не давала посадить на гормоны. И все-таки вытащила его каким-то чудом... К началу шестого класса по его инициативе они отказались от инвалидности, всех полагающихся льгот и пособий... Хотя с деньгами тогда было очень туго... Лёша стал ходить в школу и на физкультуру, от которой был освобождён, записался на фехтование... До 9-го класса был идеальным сыном и учеником.

И вдруг в пятнадцать лет попытка суицида. Вроде из-за несчастной любви. А потом депрессия, таблетки и через полгода наркотики... И этот последний его глупый побег из реабилитационного центра, когда он сломал ногу... последняя попытка поговорить с ним, после которой он перестал отвечать на звонки... За что? Ну, ладно эта девчонка Лида, из неблагополучной семьи, дочь наркоманки... А ведь у Лёшеньки было всё...

Она посмотрела на продолжающий светиться экран мобильного телефона... Где он сейчас? Ей хотелось надеяться, что и ему, быть может, встретится кто-нибудь, кто, как она сегодня, найдёт несколько лишних минут, чтобы выслушать и поговорить.

РЯДОМ ХОДИТ

Выходя из электрички, Антон сразу заметил его. Кажется, больше года не виделись, и ещё бы столько. Антон даже не видел лица Костика, просто ощутил боковым зрением болезненно знакомый жест: суетливое приглаживание косой челки. Этой нервной привычке уже лет двадцать. Костик, заматанный в какие-то тряпки, ёжился у подножия лестницы в компании двух похожих типов. Они как будто невзначай подходили то к одному, то к другому прохожему и так же быстро сутуло отходили, когда им отказывали.

Антон оглянулся. Другого выхода со станции не было. К нему подойдут точно, “своих” чуют даже через много лет. Антон вспомнил уловку, когда нужно было в старших классах слинять из лица посреди уроков мимо вездельных охранников. Он прикладывал к уху телефон и начинал изображать, что говорит с мамой: “Да, мам, ага, вижу твою машину, бегу-бегу, извини, долго переодевался”. Обычно охранники не прикапывались.

— Да, Пётр Алексеевич! Конечно. Я вас понял. Давайте попробуем какие-то другие варианты. Вас какие даты интересуют? Мы что-нибудь придумаем. У меня под рукой нет компьютера, сейчас добегу до дома, смогу вам сразу отписать! — нехитрого монолога хватило на всю лестницу. И вот Костик как-то неуверенно отделяется от компании и двигается в сторону Антона. Вот они уже в двух шагах друг от друга. Костик пытается непринуждённо улыбнуться. Поднимает руку, наверное, похлопать по плечу. Антон, быстро сообразив, ловит руку Костика и крепко пожимает. Чуть отодвинув телефон, громко шепчет: “Привет, братан! Рад тебя видеть! Сто лет! Как сам?”. И, не дождавись ответа, прибавляет шаг: “Да-да, конечно, с этим я согласен. Но вы и мою позицию поймите, это же полный абсурд получается. Действия сотрудников непродуктивны!” Ещё несколько метров Антон ощущает, что Костик неуверенно плетётся сзади. Антон всё идёт и идёт, с трудом стараясь не переходить на бег. Толпа вечерних пассажиров постепенно расплзается по переулкам. Антон продолжает говорить всё так же громко и возмущенно, пока не проходит квартала три. Пронесло...

Пронесло? Оборачивается. Облегчённо вздыхает. И тотчас обдаёт жаром, как будто в баню вошёл, — накачивает чувство стыда. И следом детские картинки, эпизоды, страхи, бесконечные кошмары последних лет... Ещё неизвестно, что хуже: общение с Костиком или их общие воспоминания.

И вот уже Антон как будто не на унылой зимней улице спешит домой после смены, а там, в неторопливом лете, ставшем рубежом его детства...

В тот день они расчерчивали поле боя: рисовали на песке расположение войск, делили линии фронта. С крыльца их окликнул Мишка Батон. Батон его прозвали, потому что жирный был. Перестройка, магазины пустые, родители без денег, пацаны все тощие, а этот — как колобок. Вот и дразнили его от зависти. Отец Батона заправлял каким-то судом, его видели редко. А брат Батона работал на заводе, по вечерам ходил поддатый и отवेशивал люлей всем, на кого младший показывал. Потом брату надоело мальчишек ловить, и он смастерил Батону здоровенную рогатку. Но кого удивишь рогаткой, пусть даже большой. Залезь на дерево (если, конечно, пузо не мешает) — наломай сколько хочешь этих рогаток. Потому брат смастерил ещё и особенные “патроны”. Вечером Батон вышел со своей рогаткой на крыльцо. Мальчишки были увлечены игрой и лишь по привычке обернулись на звук захлопнувшейся подъездной двери, но, увидев Батона, брезгливо отвернулись.

— Эй! — крикнул Батон. Никто не повернулся к нему. — Ша как стрéльну! — он навёл рогатку на копошащихся ребят.

Первым распрямился Лёха.

— Давай, стреляй! Чё, слабó?

Остальные мальчишки тоже начали подниматься и, деловито выпятив грудь, стали дразнить Батона.

— Крутой, да?! Стреляй, рискни!

— Попадёшь — держись!

— Да гляньте, он её даже не зарядил! Ну, лошок! — Антон вместе со всеми соревновался, кто поддразнит громче и смешнее.

Батон подержал мальчишек под прицелом несколько мгновений и опустил “оружие”. Потом достал из кармана горстку “патронов” и медленно примерился. Мальчишки с любопытством смотрели. Рогатка, уже заряженная, снова уставилась на ребят, потом неспешно повернулась вправо на старый растрескавшийся дуб и немного подалась назад от сильного натягивания. Хлоп. Батон отпустил тетиву.

Дальше... Антон помнил только, как совсем рядом с глухим воплем упал Костик. Антон как будто в замедленной съемке повернул голову и ошарашенно уставился на скрутившегося у его ног друга. Рядом с ним валялся окровавленный “патрон” — согнутый крючком гвоздь.

Привели взрослых, помчались ловить Батона. Антон вспоминал урывками. Просто кадры, один за другим, как будто замершие навсегда. Никто не мог понять: то ли гвоздь отскочил от дерева, то ли поменял траекторию и, бешено вертясь, выверлил Костику глаз.

Антон потом ездил с мамой к Костику в больницу. Тот сидел на койке с залепленным бинтами глазом и бойко болтал:

— Я теперь как пират, скажи?! Я своих попрошу черную повязку купить! Жаль, доктор сказал, скоро буду как новенький — я бы остался пиратом! Вот мы навалием этому жирдяю!

По дороге домой в дребезжащем трамвае Антон рассказывал маме, как они Батону устроят тёмную. Мама почему-то беззвучно плакала и обнимала Антона. А потом прижала и начала шептать ему в самое ухо быстро-быстро: “Маленький мой, самый родной! Обещай мне, ради Бога, никогда... никогда, слышишь? Не подходи к этому Мишке! Пожалуйста, никого больше не дразни! Я тебе куплю приставку! Мы накопим и купим! Уже в следующем месяце, слышишь? Только обещай, что никогда-никогда не будешь играть в войну на улице! Обещаешь?”

Антон хотел возразить: “Как же не играть в войну? Во что же тогда? И как навалить Батону, если к нему не подходить?” Но мама всё плакала и плакала, и уже пассажиры как-то тревожно смотрели на них. Тогда Антон отодвинулся и по-взрослому, как делал отец, погладил её по спине: “Мам, ты успокойся. Всё будет хорошо. Я тебе обещаю”.

Стало ли хорошо — сложно сказать. Стало по-другому. За пару месяцев двор опустел. Кого отравили к бабушкам, кого держали дома под разными предложениями, кого вдруг начали таскать с собой на работу.

Антону купили приставку. Как выяснилось много лет спустя, мама продала свои серьги с рубинами — подарок бабушки. Узнал это Антон уже будучи отчисленным студентом, когда ему позарез нужны были деньги. Диким и глупым показался ему такой поступок матери. Двадцатилетнему Антону, “поставленному на счётчик” за наркотики в долг, казалось, что именно те сережки, так по-дурачки проданные матерью, могли бы решить все его проблемы...

Костика выписали только через три месяца. Потом он ещё до самого Нового года ездил по разным санаториям. Его мечта остаться пиратом сбылась. Глаз вернуть не смогли, и Костик ходил с повязкой.

А Батону так никто и не навалил. На следующий день его отвезли в деревню. Через пару недель куда-то съехала и вся его семья. Больше их не видели.

Антон и не заметил, как добрёл до дома. Настроение стало тягостным. Он вытащил из кармана горсть мелочевки, в поисках ключа от домофона.

— Вот чёрт, ключи! — он поморщился, увидев на ладони ключи от пищеблока. — Идиот, забыл сдать охране! — Антон растерянно замер перед подъездом. Снег валил хлопьями... Завтра у него выходной. А теперь? Не оставил ключи — снова тащиться в Москву, а это считай полдня в никуда! Уродский вечный стресс. Стрес-с-с — слово-то какое противное! Как ногтями по школьной доске.

Антону вдруг захотелось плакать. А следом накатила злость от жалости к себе.

Открыл дверь квартиры, машинально проямлив: “Привет, дед!”. Взгляд зацепился за родной скейт. А ну вас всех! — Он швырнул сумку, ухватил доску и, прихлопнув дверь, сбежал по лестнице. У подъезда вспомнил, что забыл в сумке плеер, и несколько секунд стоял в нерешительности: вернуться, нет.

— Да вашу мать! Надоели! — прошипел он кому-то в небо. — Успокойся я сегодня наконец?! Так покаताюсь, плевать!

Он шёл по заснеженным вечерним улицам. Прохожие косились на зажатый под мышкой скейт, на его двухдневную щетину.

— Че пялишься? — мысленно давал он отпор каждому. — Скейт не видел, жиртрест? А ты, синюшный, только бухать умеешь? — При этом Антон отводил взгляд или стеснительно улыбался, за что злился на себя ещё больше. Хотелось одиночества. Только так, кажется, можно было освободиться от бесконечной неловкости и стыда. Перед родными, девушкой, сослуживцами, прохожими.

Всё шло не так. Ключи, забытый плеер, обрекший его на диалог с собственными мыслями, эти механические улицы, медленно движущиеся ему навстречу, липкий плачущий снег, лишние прохожие. Вечер не задался! Он шёл, пытаясь сжаться в точку, незаметную миру.

Наконец остановился. Ноги сами вспомнили дорогу: старая площадка над теплотрассой. Маленькая, конечно, и захламленная, но зато снега нет: он таял, ещё не коснувшись асфальта, оставляя мокрые следы. Правда, Антон не один оказался таким умным. Двое мальчишек лет тринадцати разучивали переворот по видео с телефона. Они оторвались было от экрана, но, взглянув на Антона с бесстыжей подростковой снисходительностью, отвернулись. Он кивнул им, наклонившись, как будто затянуть кеды.

Ботинки! Ну и придурок! — на нём были совсем неуместные зимние ботинки на липучках. Для виду он их поправил, но сути это не меняло: ботинки были на толстой тракторной подошве, буквально неделю назад вытащенные с антресолей — уж больно зябко стало ждать на всех пересадках до работы.

— Пофиг, всё равно уже! — пробубнил он достаточно громко. Услышав своё “пофиг”, он невольно улыбнулся. И правда, кому какое дело. Не повывендриваешься, конечно, в такой обуви, но проветриться можно.

С плеером было б полегче! Антон старался не замечать пананов, но чувствовал их любопытные взгляды. Он перебирал в голове любимые мотивы. Ботинки жёстко фиксировали подъём, через подошву почти не ощущались движения доски, но постепенно он перестал нервничать и, наконец, немного выдохнул. Обрывки любимых мотивов вытеснили калейдоскоп болезненных воспоминаний; он крутился на доске, немного неумело, но весело. Как будто снова был подростком, радующимся каждому даже неуклюжему движению. Когда он присел на перила передохнуть, вокруг уже было пусто. Он не заметил, как мальчишки куда-то ушли. Снег прекратился. Он один на этом чёрном асфальтовом островке, а вокруг всё как будто бережно упаковано, завернуто в снег. Тихо. Прислушался — вроде и в душе улеглось. Теперь можно домой.

Он неспешно брёл назад. Струйки пота щекотали спину под толстовкой, мокрые перчатки покалывали горячие ладони. Антон стянул шапку. Приятный холодок обдувал. Настроение совсем выправилось: мысли об уютном вечере грели... Чаю с дедом навернём! Пельменей нажарю, с лучком. Как раз его футбол через час начнётся!

С дедом жить забавно. Да и легче, чем с родителями. Особенно когда тебе под тридцать. Можно при случае говорить, что за стариком просто приглядывать нужен (а то нынче, если в тридцать живёшь с роднёй — уже недоделок как будто). Дед хорош молчанием, своим ритмом. Дверь в квартиру закроешь — и как отрезало от суеты. Когда бабушка была ещё жива, дом дышал жизнью, двигался. Дед тоже никогда без дела не сидел, но как овдовел, то будто тише стал, медленнее.

И Антону нравилась эта медлительность, неспешность, эта обособленная

жизнь. Он чувствовал себя здесь защищённым. Как будто в детстве, но не его реальною, а в детстве из книжек Гайдара, советских фильмов, родительских рассказов. У него не было пионерских лагерей на три смены и школьных кружков, не было вожатых или других старших, которые бы приглядывали, поддерживали. В его детстве были тревожные взгляды мамы, её слёзы и папины бесконечные подработки, поиски денег. А потом подработки закончились, появились папины бутылки. В последние годы у родителей как-то выровнялось, но почему-то, как только он заходил в родительскую квартиру, внутри поднималась тревога, даже страх.

С дедом было спокойно. Нет, они с бабушкой не накопили денег на чёрный день. Просто оба были родом из военного детства, и вся эта мрачная суета девяностых воспринималась ими как нечто, что обязательно схлынет, пройдёт. Не блокада! А уж с остальным справиться можно.

Антон подошёл к подъезду, полез в карман и снова вспомнил про ключи от пищеблока. Ладно, что-нибудь придумаем. Значит, в Москву завтра. Ничего, возьму скейт, там, кстати, в центре всегда расчищено, вдоволь покатаюсь. Алиске позвоню, в кафе приглашу, она любит выбираться в центр, — он улыбнулся простым решениям тех проблем, которые ещё пару часов назад казались тягостными и невыносимыми. В последние годы он научился выдыхать и давать себе время на обдумывание, вместо того чтобы сразу отчаиваться. Эх, эту бы способность отослать Антону-подростку, которому жизнь казалась беспросветной.

Поднимаясь по лестнице, Антон замечает тень на втором пролёте у мусоропровода. Тень двигается. Да мало ли кто! Антон пытается унять зарождающуюся тревогу.

— Привет!

— А! Привет, брат! — Антон отвечает как на автомате, даже улыбается слегка. — Рад тебя видеть! Как сам?

— Да это... нормально. — Костик по привычке смотрит куда-то в сторону.

Антон и сам до сих пор с трудом заставляет себя смотреть людям в глаза.

— Давно не появлялся! Уже год, наверное! Лечился?

— Да не совсем... Два два восемь*. Ну, сам знаешь. Полтора года дали. Если бы не предыдущее, условный был бы. Но судья докопался. Не вернулся.

— Бывает.

— Но теперь всё, лечиться еду.

— Вот молодец! А куда?

— Пока не решил. Но теперь точно. Теперь уже насовсем.

— Красавчик! Всё правильно! — Антон пробует потихоньку начать обходить Костика, чтобы подняться дальше. Телефон остался в квартире, так что недавний трюк не пройдёт.

— А ты как? — Костик неловко пытается зачихнуть руки в карманы потертых джинсов, переминаясь с ноги на ногу. На куртке карманы оборваны, не спрятать опухшие кулаки.

— Да ничего, как все. Рутина, сам знаешь.

— Ты всё с доской? Не холодно?

— Да не, отлично!

— А мне вот что-то холодно. Одежды тёплой не осталось. Раздал ребятам, когда понял, что посадят. А вернулся, и нет ничего. Поесть бы, согреться. — Костик ёжится, мнётся. — Может, будет у тебя рублей двести?

— Не, Костян, я вот катаюсь, с пустыми руками! — Антон знает, на что Костику деньги. И в то же время так не хочется сейчас портить настроение. А с каждой минутой разговора всё больше затягивает то тёмное, страшное, давнее, постоянно сверлящее изнутри. В заднем кармане есть сотни три точно. Сунуть бы, и дальше. Костик отлипнет, и можно будет забыть... Но ведь

* 228 — статья УК РФ “незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...”

понятно, зачем ему деньги. Забыть не выйдет. Потом опять накроет, внутри будет стыдом гореть, разьедасть. За нечестность свою, за слабость.

— Понимаешь, чтобы на работу устроиться, надо одежду нормальную купить. А денег-то негде взять. Я пока жду, ребята обещали достать. Вот с едой хуже. Хоть согреться бы. Я могу подождать, если у тебя дома есть. Ты не думай, я отдам. — Костик разглаживает длинную челку налево. Его сальные волосы сильно поредели. — Как на работу устроюсь, все долги раздам. Теперь уже точно понял, что это не мое!

Антон смотрит на Костика, и тошнота накатывает от этого зеркального отражения его самого семилетней давности. Фразы, мысли, интонации...

— Нет, брат, извини, сам на мели! Зэпэ подчистую. Ты ж понимаешь, с моим прошлым только на копейки устроиться можно, все проедаю, сам в долгах. Хочешь, заходи! Я тебя обедом накормлю! Дед всегда рад гостям.

И вот на какой-то миг Костик как будто замирает. Глаза его, тёмные, затравленного зверя, вдруг освещаются чем-то тёплым, человеческим. Антону хочется зажмуриться и очутиться снова там, где им лет десять... Они грязные притащились к Антону домой. К Костику бесполезно — там крикливая бабка. Мать Антона тоже, конечно, ворчит: “Опять на пустырь ходили? Грязищи-то нанесли! Выпороть бы обоих!” Но её ворчания надолго не хватает. Отправляет руки мыть, и за стол. Набив рот, они болтают, смеются...

В семье Антона любили и оберегали Костика, ему часто разрешали оставаться на ночь. Его ласково звали Костик, помня о его детской беде. Пройдёт всего три года, и эта дружба обернётся бесконечным кошмаром, *употреблением*, раскаянием, новыми дозами.

Антон смотрит на Костика. Он всё понимает. И Костик понимает. От того сутулится сильнее. Ему бы сбежать сейчас от стыда, да проклятая тяга вертит-крутит, заставляя до последнего унижаться ради денег. Антон всё это проходил. Вместе проходили. И тошно от этого, и бессилие двинуться с места не даёт. Молчание затягивается. Костик тоже не двигается, смотрит под ноги.

Снизу слышатся шаги. У обоих как будто отлегло.

— Чего стоишь, ключи что ль забыл? — дед смотрит на Антона, неспешно поднимаясь по лестнице.

— Дед! Привет! Да нет, вот встретился тут... А ты чего? — Антон готов деда расцеловать, вовремя он пришёл.

— В магазин ходил. Папиросы кончились. Чего тут-то отираетесь, если ключи есть?

Костик едва слышно произносит “здрасьте” и отворачивается, как будто смотрит в окно.

— А чего, друг-то твой не зашёл? — дед неспешно стягивал ботинки, присев на обувницу.

— Костик? Да нет, он не зайдёт. Он из тех, давних.

Дед покосился на Антона:

— Из дурных твоих, что ли?

— Ну да, из... из *употребляющих*, — опять это чувство вины, стыда.

— И чего вам неймется... Молодые мужики. Ты-то хоть уже не балуешься? — дед, крихтя, поднялся, стянул куртку. Антон стоял, как будто провинившийся школьник.

— Дед, я ж тебе говорил. Я уже семь лет как чистый. Иначе я бы сейчас не работал, а вон... как Костик. Да деньги бы у тебя таскал.

— Я б тебе потаскал! Деловой, — дед направился в ванную. — А он чего? Курит дрянь эту?

— Колется, — тихо выговорил Антон. — Да, думаю, да.

Антон стоял в смятении. Так бывало всегда, когда он видел бывших друзей, когда замечал на вокзалах эти трясущиеся руки, маниакальные взгляды. Потом долго ещё не отпускало.

Дед вышел из ванной:

— Чего стоишь? Пошли! Ужина ещё нет, а матч через полчаса. Вон на-
текло с тебя.

Антон машинально разделся, стянул промокшую толстовку и протиснул-
ся в кухню. Дед налил воды в кастрюлю, поставил на плиту и присел рядом.

— Курить будешь?

— Да не, дед, я ж не курю, ты знаешь.

— Ну, это я так. Не очень-то ты радостный от встречи с другом... Это
тот, который без глаза?

— Он самый. Костик.

— И чего дурень колется! И так девчонку не найти, а тут ещё нарко-
манит.

— Дед, ну у него ж травма.

— Да я помню, что без глаза. Но и слепые вон живут и ничего.

— Я про психологическую.

— Это чего такое? — дед достал было папиросы, но убрал в карман. —
Назовут же ещё умными словами.

— Понимаешь дед, это ж как — смерть так близко видеть. Мне самому
до сих пор страшно. Может, оттуда всё и началось.

— А чего её бояться, смерть? Раз рядом ходит — ещё не скоро загля-
нет. Видать, не подходишь ты ей.

— Да ладно б на войне, а пацана на всю жизнь просто так покалечило,
обидно!

— Это всегда обидно. Я вот, помню, у нас тоже ребята калечились,
да и помирали ни за что, в училище.

— В войну? Так ты ж в эвакуации был, в Азии, разве там много уми-
рало? Кормили, небось, хорошо.

— Кормили хорошо, это да. У курсантов паёк, как на фронте, калорий-
ный. Надо же было этих ребят как-то вырастить... Училище... Это у нас под
Саратовом лётное училище было. А когда в Туркменистан в сорок втором
эвакуировали — одно название осталось. Да и то потом меняли на “лёт-
ный лагерь Кара-Бугаз”.

Представь — пустыня бескрайняя. До ближайшего городка Кизил-Арбат
километров семьдесят. Весь лагерь — десятка два военных палаток да пара
дощатых домиков — для начальства и хозяйки. И вокруг самолёты стоят,
брезентов прикрытые. Вот тебе и всё училище...

А чуть дальше кладбище... в месяц двух-трех точно хоронили. Мне тог-
да сколько — лет десять, получается, было? Отец задание дал — на фанер-
ках звезду рисовать, имя и дату. Помню, сначала тяжело было — пыхтел,
всё хотелось покрасивее, а сам плакал. Рисую, а перед глазами лицо этого
Петьки или Лёши. Они ж со мной все за руку здоровались, учили разному:
кто на гармошке губной играть, кто стихи какие-нибудь. Отец после каждых
похорон подожду, бывало, сядет и молчит. А потом говорил, мол, держись,
Вовка, это война.

Иногда за неделю двоих могли хоронить. Тоже всё рядом ходила,
смерть эта.

— Заразу, что ль, подцепляли?

— Да нет, молодость, видать, их губила. Самоуверенность, пыл, в небо
хотели.

— А как же их в небо отпускали, неподготовленных?

Дед рассеянно похлопал по пиджаку, потом снова выудил из кармана
смятую пачку “Явы”.

— А как ты его не пустишь? Их присылают с бумажками, что всю те-
орию прошёл, и с указанием в такие-то сроки подготовить для выполнения бо-
евых задач. А они до этого самолёты только по книжкам изучали. Мальчиш-
ки, и двадцати не было, только-только из-за парты. Отец сколько мог их на-
таскивал. Ты представь, парень из какой-нибудь Якутии. А тут жара каж-
дый день — сорок! У меня, у пацана волжского, голова к обеду гудела от
зноя. А им весь день занятия слушать, потом в *машине* раскалённой сидеть
отрабатывать. Да и самолёты, сам понимаешь, лучшие на фронт отправля-
ли. А нам старье да что попроще. А если ещё буря песчаная...

Дед покрутил папиросу, кряхтя потянулся за спичками, неожиданно громко продолжив:

— Ребята эти — все на фронт рвались! Эх, как куражились они в небе, глаз не оторвать. Отец ругал их страшно, и полетов лишал, и наряды раздавал. А им что... Каждый ведь считает, что смерть рядом пройдет, его не тронет...

Дед задымил.

— Не тронет... От этой дряни, говорят, тоже помирают! — дед с ухмылкой показал Антону дымящуюся папиросу. — Так что́ уж её бояться, смерть эту. Она найдёт, где прибрать.

Антон вспомнил, сколько раз снился ему кошмар про тот гвоздь, мог ведь свернуть чуть раньше и тогда угодил бы не в Костика, а в него. Сколько раз прокручивал он малейшие детали, которые могли всё повернуть по-другому. Он попытался выбраться из воспоминаний, стал разглядывать привычные предметы на кухне. Поглядел на деда. Может, что-нибудь расскажет. Хорошо бы, а то совсем тяжело на душе.

— Помню, хозяйственник у нас был — Василич — толковый мужик. Его тоже, как отца моего, на фронт не пускали. Только отца из-за квалификации, чтоб молодых учил, а у этого полступни не было, оторвало на заводе. Так вот, очень сообразительный был, отец за него держался... Он, понимаешь, умел как-то гробы доставать!

— Да уж, прям гений! Добра-то. Лучше б самолеты доставал нормальные! — Антону не понравился разговор, все больше удививший к теме смерти.

— Э-э, темнота! Это тебе сейчас на каждом углу похоронное бюро, в каждом райцентре небось есть. А ты представь, ближайший аул — два часа езды на разваленном грузовичке. Туда не повезёшь хоронить, это на весь день машину занимать. Да и местные настроенно к нам относились, и хоронят они по-своему. А вокруг училища — пустыня. Землю копать — мука. А если не глубоко закопать — так ветром быстро верхний слой снесёт, а там и падальщики налетят. Без гроба здесь никак. Да и человек честно хотел за Родину воевать. Он что, своего места не заслужил на земле? Вон их сколько, до сих пор ищут, тех, кого похоронить не могли! Леса прочёсывают, целые районы. Велика она, земля наша, забрала себе, спрятала, обратно отдавать не хочет.

— А как же другим курсантам похороны: так ведь и боевой дух напрочь сбить можно?

Дед помолчал, прищурился, то ли от едкого дыма, то ли по привычке.

— Боевой дух... это дело такое... — дед неожиданно ухмыльнулся. — Помню, Василич как-то приезжает, а у него в машине сразу десяток гробов. Отец хмуро на него глянул, но что тут скажешь. Василич-то мужик толковый. Он всё отцу разложил: мол, пока он десять раз туда-сюда съездит, сколько машина километров накрутит, и так едва дышит. А им о живых заботиться надо, вдруг кто покалечился или заболел, а машины нет.

— Изворотливый твой Василич был.

— А как по-другому в военное время! Ему всё училище обеспечивать надо и едой, и одеждой. А спрос весь с него. Там ведь чуть что, объяснений не примут. Жёсткое время было!

— Всё равно, не по себе как-то. Гробы впрок.

— Да это ещё чего! Вся штука была в том, что хранить эти гробы нигде было! Бараки заняты. Лишних построек нет, даже сарайчика какого свободного, где их возмёшь, стройматериалы? Не ставить же гробы курсантам в палатку или столовую!

Антон невольно ухмыльнулся:

— Да уж, товар не самый приятный, под кровать не спрячешь.

— Вот-вот. Так он их за хозчастью поставил. Курсанты мимо идут, а тут — гробы. Территория маленькая, хочешь — не хочешь, наткнёшься. Не выдержали ребята. Сначала просто роптали на Василича. А потом взбунтовались. К отцу пришли, забастовка у них! Представляешь?

— Вполне логично. Люди всё-таки! Имеют право.

— Да какое право?! Война! Всех под трибунал за такое дело могли! Чудак-человек, это ж советские солдаты, в военное время подрывали дисциплину в лётном училище! Их по-хорошему арестовать и отправить в город для разбирательства, да поскорей, чтобы агитацию не разводили!

— Дед, это ты такой умный уже тогда был? Или сейчас понял? — Антон улыбнулся редко наблюдавшейся у деда эмоциональности.

Дед ухмыльнулся:

— Да не, я-то что. Я тогда перепугался. Лица у них, понимаешь... лица такие были, когда вошли... Испугался, что отца убьют... У меня же никого кроме него и не было. Помню, тайком приказа все читал, что ему приходится. Боялся, что его на фронт оправят... Но отец с ними держался жёстко. Они сначала молчали — а взгляды исподлобья. Потом один, умный такой паренёк был, Пашка Лосев. Он вперёд вышел и говорит уже так неуверенно, будто просит, а не ультиматум ставит. Я тогда помню, почувствовал, что отпускает меня страх: не сделают ничего отцу. Жалко их стало. Эх, малы пацаны были. Им бы ещё жить да жить...

Дед затушил сигарету.

— Так чем закончилось?

— Закончилось? Так ведь победой, Антошка! 9 мая — не знал что ль? — дед подмигнул.

— Да ну тебя, дед! С гробами что?

— С гробами-то? — дед достал обмётанный покойной бабкой платок, вытер лоб, аккуратно сложил его, как будто невзначай, погладил. — Отец долго ребят молчанием мучил. А потом говорит — так, мол, и так. Под трибунал он их не отправит. Дураков малолетних. Не для того, мол, страна их обучала, деньги тратила, чтобы потом они до фронта не добрались! Но за такие бунты с каждого наряд вне очереди: отдраить всё училище до блеска! Новые гробы такими партиями привозить не будут, но и эти обратно не отправят. А раз что не нравится, то пусть сами придумают, куда их спрятать. Срок — двое суток. Хоть портянки свои переведут, чтобы укрыть, ему, мол, всё равно.

— Пожалел, получается...

— Пожалел.

— А гробы-то куда?

— А они их разобрали. — Дед лукаво улыбнулся. — Сложили стопочками, все гвоздики да доски, как положено. И в хозсарае вдоль стены припрятали. И места мало занимают, и как будто, понимаешь, не гробы, а просто доски лежат. А как понадобится — так собрать за полчаса можно. Гордые ходили, вроде как начлёт* победили.

Помню, потом отец с Василичем сидели на крыльце, выпивши, курили, в небо смотрели. Василич ворчал: “Пожалел, выходит?” “Война сама решит, кого пожалеть, — сказал отец. — А хоть пару месяцев пацанам ещё пожить”. Потом Василич успокоился. Вспоминать стали ребят ушедших. А отец ему и шуткует: “Василич, смерть — она же баба. Баба своё барахло везде приметит. А у нас барахло всё ненужное — вместо гробов доски в сарае да гвоздики. Глядишь, баба-то глупая, не поймёт, мимо пройдёт”.

Так что, Антошка, чего бабу-то бояться. Ходит она рядом, ну и пусть себе ходит.

Дед поднялся, посмотрел на кастрюлю.

— Тьфу, дурак старый! Газ не включил! Вот тебе и пельмени!

Антон улыбнулся:

— Иди, дед, а то сейчас футбол начнётся. Я сам. Приготовлю — принесу тебе.

— А ты что ль пропустишь начало?

— Да иди-иди, фанат. Я по твоим крикам и так пойму, что происходит.

Антону хотелось побыть одному. Подумать. Ему нравились байки деда. Для Антона они никогда не звучали как эти поучительно-назидательные

* Начлёт (разг.) — начальник лётного училища.

“а вот в наше время... что у вас за проблемы по сравнению с нашими... так что сидите и не нойте”...

Когда-то такие правоучения бесили Антона, толкали на улицу запить, занохать. Все почему-то считали, что его можно вылечить постоянными упрёками и давлением. Сколько лет этот замкнутый круг было не разорвать. Они с Костилом часами жаловались друг другу, ненавидя весь мир, оправдывая каждую новую дозу безысходностью и враждебностью окружающих... Это тоже была война. Годы ушли у Антона, чтобы понять, что только ты сам можешь выбрать, на чьей будешь стороне. Что посередине остаться не получится. Так же как и бегать туда-сюда. Он выбрал. А Костик... Костик решил остаться там. Ему как будто и не к кому было идти сюда. Да и сил, наверное, не было. Слишком долгой и выматывающей была его борьба за выживание.

В рассказах деда Антон любил эту спокойную интонацию. Может, и в его жизни когда-нибудь настанет такое время, когда обо всех своих страхах и травмах он будет рассказывать так же размеренно и тихо, как будто всё случилось в далёкие-далёкие времена...

— Да ну что ж вы творите, бесстыжие! Кто вас понабрал?! Ноги бы оторвать! — слышалось из комнаты.

Антон улыбнулся.

КЛАД

— Слышь, пацан, что за барахло у тебя?

— Дяденька, купите тюльпаны! Красивые какие! Жене подарите!

— Где нарвал-то?

— Да в парке, далеко отсюда! Там много!

— И почём продаёшь?

— 100 рублей за штуку!

— Ну ты борзый! Вон в цветочном — 50.

— Мне деньги нужны, очень!

— Так у родаков попроси.

— Нету...

— Денег нет?

— Родителей нет. Бабушка нас с сестрой воспитывает. Мамка умерла зимой, а отца я не знаю.

— Ну и че, бабка тебя сюда послала? Или на сигареты деньги стреляешь?

— Нет, я не курю! Бабушка не знает. Она в больницу попала, старая уже.

— На лекарства что ли ей? Сколько надо?

— Да нет. На крещение. Сестренке.

— А это зачем?

— Если бабушка умрёт, нас с сестрой в детский дом сдадут. Сказали, что в разные, она маленькая совсем, а мне уже десять лет! А там в детдоме чего только не творят! Кто за неё заступится, если меня рядом не будет? Только Бог! А она не крещёная. Раз не крещёная — то и не заступится!

— М-м, это тебе кто сказал?

— Бабушка сказала, что когда родителей нет, только Бог заступится, никому другому верить нельзя. Меня крестили маленьким, а сестру так и не успели. А вот теперь вдруг бабушка умереть может. Нужно обязательно крестить, пока нас не забрали. Соседка говорит, она дня три присмотрит за сестрой, а потом уже не сможет, надо будет в приют звонить.

Мужчина посмотрел на Витьку, на его тюльпаны.

— Морозного, может, хочешь?

— Не хочу. Мне деньги нужно заработать.

Мужчина постоял некоторое время, как будто оценивая Витькин товар.

— Пойдём, отойдём что ли, где потенистей, куплю парочку.

Витька, воодушевлённый мыслями о первых деньгах, помчался в сторону сквера. Мужчина неспешно пошел за ним.

— А мамка у тебя от чего умерла?

— Не знаю, бабушка говорит, уколы какие-то плохие делала и умерла.

Кто-то подсеул плохие лекарства.

Мужчина хмыкнул и пробежал взглядом по Витьке.

— Да, уколы нынче часто плохие. Тебе не колола она свои уколы?

— Да нет, я же не болел. А мама много болела. Ей всё время было плохо, она лежала белая-белая и тряслась. Только уколы и помогали... — Витька переминался с ноги на ногу, не решаясь уже попросить денег за цветы. Времени оставалось мало. — А вам какие дать: жёлтые или красные?

Мужчина помолчал немного. Потом как-то недовольно сморщился.

— Что-то они совсем хилые у тебя. Слушай, а ты по-другому заработать не хочешь?

— Да нигде не берут! Я уже просился и в кафе, и газетами торговать. Говорят, я для такого слишком маленький! Только с четырнадцати лет работать можно, иначе полиция поймает.

— Есть у меня работёнка, для которой ты в самый раз подойдёшь. И полиция таких не ловит... Хочешь?

— Хочу, конечно! На мойке что ли?

— Нет, у нас интереснее. Тебя как звать-то?

— Витёк!

— Ты, Витёк, клады когда-нибудь искал?

— Ну да, — радость Витьки поутихла. Времени на клад у него не оставалось. — Только вон в фонтане проще монеток набрать, чем клад найти.

— Это верно. Но у нас работа наоборот: клад прятать, чтобы потом другие находили, понимаешь?

— Понимаю! — Витька не очень понимал, но хотел сойти за взрослого, вдруг и правда работу предложит. Да ещё такую интересную.

— В общем, давай через полчаса подходи вон в ту цветочную палатку через дорогу. Там скажешь, что от дяди Миши.

— А при чем тут клад?

— Там тебе дадут клад. Ничего интересного: маленький пакетик, семена. Вот тебе их нужно будет спрятать. Тебе скажут, куда.

— И всё?

— И всё. Если справишься — получишь 100 рублей. Для первого раза. А потом получишь ещё клад, и за него уже сможешь получить больше. Чем больше кладов спрячешь, тем больше заработаешь.

— А не обманете?

Мужчина улыбнулся и потрепал Витьку по голове.

— Вот, вижу, умный, правильно, что интересуешься. Тюльпаны мне твои не нужны, но я дам тебе сто рублей, чтобы ты был уверен, что не обману.

— Просто так?

— Просто так. Я же тоже надеюсь, что ты не обманешь и спрячешь клад правильно. Потом вернёшься к палатке, тебе там отдадут твои заработанные сто рублей.

Витька выжидательно смотрел на мужчину.

— А можно сразу несколько взять, чтобы больше заработать?

— А ты, мальй, не промах! — мужчина хмыкнул и достал из кармана сотню. — Давай для начала с первым справишься, а я посмотрю, на что ты способен. Вот, держи. Только уговор: никому об этом не говорить, понял?

— Понял! Это ж клад!

— Вот-вот. Этот клад очень нужен определённым людям. Но другие могут тоже захотеть его получить. За просто так. — Мужчина протянул сот-

ню и улыбнулся. — Не забудь, подходи через час к палатке со своими тюльпанами.

Витька с нетерпением ждал дядю Мишу. Работа оказалась ерундовой. Он спрятал малюсенький свёрток за трубой дома в соседнем дворе. Все, как сказали в цветочном. Его не обманули, сто рублей дали. Но следующий клад сказали, даст дядя Миша. И вот теперь он ждал.

Витька уже посчитал, сколько кладов ему надо спрятать, чтобы хватило на крещение. Он представлял, как придёт с гордостью в церковь, покажет деньги, и та вредная бабка запишет сестрёнку. Он вспомнил, как прогнала она его утром... Витька долго стоял при входе, не зная, к кому обратиться в пустом и тихом пространстве церкви. А потом увидел бабульку, которая гасила и выбрасывала свечки. Она сказала, что крещение — это тоже работа, и за неё надо платить. На Витькины объяснения, что денег нет, она начала подталкивать его к выходу — “чтобы не шумел в приличном месте”.

Дядя Миша подошёл, когда уже начало темнеть. Он издали увидел Витьку и махнул ему головой, показывая в сторону подземного перехода. Витька помчался вслед.

— Ну что, малой — молодец! Проверили, сказали, ты отлично справился.

— А кто проверил? Уже нашли клад?!

— Да, нашли! Всё правильно спрятал.

Витька немного растерялся. Он не понимал, зачем кому-то рассказали, где спрятан клад, чтобы его так быстро нашли. Но дядя Миша был вроде доволен.

— А еще дадите?

— Дам. Но не здесь. Сейчас зайдём в метро. Держи проездной. Зайдёшь со мной в один вагон, но сядь подальше, чтобы никто не знал, что мы вместе. Понял?

— Понял! А то следить будут?

— Вот-вот. Игра такая. Следить будут. Выйдем через четыре остановки на конечной. Там тоже будет палатка с цветами. Я уйду по делам, а ты к ним подойдёшь, они дадут тебе сразу два клада и два места, где спрятать. Справишься — получишь ещё 250 рублей.

— Справлюсь! А можно сразу много кладов?

— Сразу нельзя. Ты можешь забыть, где прятать, и пропадёт товар. Семна то есть.

— А они дорогие?

— Конечно! Так что если ты вдруг потеряешь или не там спрячешь, придётся тебе за них самому платить или отрабатывать. Пакетик — четыреста рублей. У нас с этим строго! А то бабушке твоей придётся отдавать.

— Понял! Нет, я не напутаю ничего. Пойдёмте скорее, может, успею ещё больше спрятать!

— Может, и успеешь. Но не забудь: если кто спросит, ты меня не знаешь. Просто играешь с мальчишками, прячешь клад, кто дал — не знаю, сам нашёл. Понял?

— Да понял-понял! Я всё сделаю!

— Ну, вперёд. Да, и в том цветочном скажешь, что ты от Стаса.

Витька счастливый шел домой. В кармане у него лежали семьсот рублей. Он почти не устал. Только с одним кладом оказалось сложно: сказали закопать возле дерева и сверху прикрыть камнем. А совка с собой не было. Земля из-за жары была сухая, пришлось ковырять её пальцами. Он посчитал, что за два дня соберёт всю сумму. А если вдруг повезет, то и за завтра.

Бабушка говорила, что в случае беды им с сестрой надо идти в церковь: “Там никого не бросят. Бог всех, кто к нему приходит, любит и оберегает”. Теперь Витька был доволен. Он заработает столько, чтобы и сестрёнку Бог полюбил.

“O, DOLCE NAPOLI!”*

Неаполь... На Москву похож. Летнюю. Жаркий, шумный, неугомонный. Не спящий. В полпервого ночи, уставшая — с запоздавшего самолёта — вышла из отеля вдохнуть морской прохлады... Но подхватил, закружил, унёс в знойную ночь гвалт толпы, хаотично бродящей по широченной набережной. Фейерверки, уличные акробаты, жонглёры с факелами. Поспать бы, да велик соблазн раствориться в этом блаженно-бессмысленном потоке.

А утром — утром он яркий, заслоняет солнце своим великолешием. Только весь в строительных лесах, как моя Москва. Но здесь не ломают, здесь бережно реставрируют, подкрашивают, по кусочкам восстанавливают треснувшие витражи. Мой город варварски меняют, выкорчёвывают осколки памятного. Здесь — лелеют, гордятся. Как москвичке — обидно. И всё-таки радуешься тому, что хотя бы где-то сохраняют, сберегут драгоценное наследие.

Что ж всё о высоком, ведь жизнь — она в каждом звуке, в каждом мгновении. Выпить чаю с воздушным канале в той самой кофейне, куда любил захаживать Гоголь, — что может быть приятнее в начале дня. В кафе всё по старинке, как в моём московском доперестроечном детстве: в каждом отделе заказываешь, запоминаешь цифры, идёшь к общей кассе, пробиваешь, и снова с этими чеками по каждому отделу. Зной невозможный. За барной стойкой толчея, столиков внутри не предполагается, а снаружи не укрыться от разыгравшегося солнца. Но официанты, одетые с иголочки, в белоснежных рубашках и отглаженных брюках, в какую бы забегаловку ты ни заглянул, как будто и не замечают жаркого натиска лета. Это — уважение к себе, к профессии. Они демонстрируют его так, чтобы окружающие тоже их уважали. Какую работу ты ни делаешь — делай её достойно. Рядом со стойкой огромный поддон, в котором бурлит вода: кофейные чашки не просто моют — кипятят. В такую погоду предосторожность не лишняя.

Хочется бесконечно стоять вот так, размлев, растворившись в этой суете, слушать рассказы великолепного знатока Италии Евгения Солоновича. Замечательный переводчик, Евгений Михайлович, шестьдесят лет знакомит русских читателей с произведениями крупнейших итальянских авторов. Лучшего собеседника для знакомства со страной и её культурой не найти.

Италия — страна особенно благосклонная к творческим русским людям. Как много талантливых живописцев были отправлены сюда императорской Академией художеств для совершенствования мастерства. А сколько русских писателей и поэтов приезжали в Италию в поисках красоты и вдохновения. От Гоголя до Прилепина, всех и не перечислишь!

Именно Италия учредила сразу несколько совместных с Россией литературных премий. Крупнейшая — “Москва—Пенне”, лауреатами были Валентин Распутин и Фазиль Искандер. Пушкинская премия присуждается за произведения, “демонстрирующие связи и преемственность между итальянской и российской культурами”. Недавно заявила о себе поэтическая премия “Белла”. И, наконец, “Радуга” — для молодых прозаиков и переводчиков. Примечательно, что название “Радуга” итальянцы не стали переводить, они используют транслитерацию “Raduga”.

Уникальность этой премии в самом формате оценки. Прозаик может представить только один рассказ, причём совсем короткий! Это отличает конкурс от прочих, награждающих за творческие достижения в целом или за опубликованные книги. Ведь развернуться в таком ограниченном пространстве безумно сложно! На нескольких страницах ты должен быть предельно убедительным, должен успеть сказать о главном, при этом сказать хорошо, интересно.

Конкурс прекрасен своей объективностью. Никакого бэкграунда. Твои прежние достижения, почести и книги — оставь себе, дорогой автор. На суд жюри, в которое с российской стороны входят нынешний ректор Литинститута Алексей Варламов и бывший ректор Борис Тарасов, представить несколько страничек, выбери достойное и рискованное. Вот уж задача для

* Рассказ Елены Тулушевой “Клад” (“Про любовь”) был отмечен российско-итальянской премией “Радуга”. Награждение прошло 23 июня в Неаполе.

молодого автора! Дашь промашку — жди следующего года. Многие заявлялись не раз, прежде чем стать победителями.

Лауреатами премии в разные годы были хорошо известные читателям “Нашего современника” Сергей Шаргунов, Юрий Лунин, Дмитрий Филиппов. В этом году в короткий список наряду со мной вошёл Андрей Тимофеев с трогательным рассказом “В тёплых лучах” о переосмыслении молодым человеком своих чувств к жене. В коротком списке и Евгения Декина, которую Андрей также включает в “поколение традиционалистов” (вместе с лауреатами — Луниным, Филипповым и Тулушевой). Рассказ Декиной “Мальчик” жёсткий, “ножевой”.

Свободный от учёта прежних заслуг, конкурс даёт уникальный шанс новичкам. Так, лауреатом премии с итальянской стороны стала Элиза Гвидотти — антрополог по образованию. Разговорившись с Элизой, узнаю, что пишет она для души, нигде литературному мастерству не обучалась и до этой премии никогда не публиковалась! Для неё всё это — удивительная сказка. За Элизу приехала болеть вся её большая семья. В роскошном палатце, где выставлены картины Караваджо, нам вручают премию, и семья Элизы занимает целый ряд, болея за неё так, будто она ещё не победила, и ей очень нужны их волнение и поддержка.

Элиза только закончила бакалавриат, впереди магистратура. Премия даже по европейским меркам вполне солидная. Она потратит её, чтобы отправиться путешествовать. А рассказ её удивительно прост и близок по духу своему России. Поменять имена главных героев да традиционный итальянский соус на наши блины — и вот уже перед читателями такой знакомый, щемящий сюжет: одинокая мать не хочет перебраться из покинутой всеми деревни к сыну в город.

Кстати, переводчица рассказа Элизы — Яна Богданова так же стала лауреатом премии в номинации “переводчик”. Яна учится на четвёртом курсе Литинститута и владеет не только итальянским, но и английским и норвежским! Для переводчиков конкурс проходит в два этапа — сначала ребята присылают переводы по своему выбору, а потом им предлагают выполнить перевод произведений из короткого списка премии. С Яной мы говорили о родном Литинституте. Только там, оказывается, есть кафедра художественного перевода с итальянского — место, собравшее удивительных людей, таких как Евгений Солонович и Анна Ямпольская, болеющих всей душой за своё дело, которых Яна благодарит за то, что они увлекли её любовью к итальянской литературе.

Утром в день награждения нас пригласили посмотреть полотна в залах Палатце Дзеваллос-Стильяно, где размещается одно из художественных собраний спонсора премии Банка Интеза — Санпаоло, в котором несколько часов спустя и состоялась церемония вручения премии. Стоишь и смотришь на подготовку к вручению — расставленные стулья, разложенные буклеты, персонал, накрывающий скатерти и раскладывающий таблички с именами... Как будто ребёнок на сказку, которая произойдёт с тобой. Мы смотрели на эти приготовления с высокой лестницы, заговорщицки улыбаясь посетителям галереи, зная, что именно нас здесь будут чествовать вечером. А пока — прохладные залы и полотна Караваджо.

С Борисом Николаевичем Тарасовым, крупнейшим современным мыслителем и историком литературы, мы говорили о путешествиях, о столь близкой ему Франции, не раз приглашавшей его работать. Профессор Тарасов знает не понаслышке, что такое молодой писатель, как нелегко ему пробиться, искать свой стиль. С какой мудростью и теплом говорит он о творческой молодёжи. Мы обсуждали современную литературу. О том, что развивается она вспылками. От Бориса Николаевича услышать похвалу в свой адрес — честь. Вечером, когда на церемонии нам вручили прекрасное напечатанное альманахи с собранием рассказов и их переводом, я увидела отзыв Б. Тарасова о моём рассказе: “Сумела в одном эпизоде из жизни мальчика ёмко раскрыть... болевые точки разных срезов общества, драматическое столкновение простодушного и чистого детского сознания — с его потребностью любить и спасать — и тупиковых проявлений окаменевшего бесчувствия взрослого мира”.

Вручая премию, председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико подчеркнул: “Мы являемся свидетелями появления поколения молодых талантов, которые словом выражают свою креативность, жизненную силу, гуманизм и врождённую склонность к диалогу”. Другие выступающие говорили о выразительной силе и проникновенности рассказов, о наших произведениях, “проникнутых стремлением к свободе”. И с каждым словом становилось тепло от того, что старшее поколение действительно слышит и понимает нас, принимает и пытается помочь, поддержать.

Тронуло, что жюри выбрало мой рассказ. Он о боли начинающего взрослеть никому не нужного ребёнка. С этими ранними детскими травмами я сталкиваюсь на своей работе каждый день. И если мой рассказ хоть одного читателя заставит задуматься и стать более чутким хотя бы к одному ребёнку, то моя цель достигнута.

Молодым, как и писателям старшего поколения, обидно от того, что вокруг много несправедливости. Мы тоже видим боль и чувствуем её так же остро, как и наши наставники. Мы ищем выход, как искали его писатели всех времён. Мы пытаемся сделать хоть что-то: достучаться, расшевелить. И если написанное нами кажется жёстче или грубее, так это не потому, что загубели наши души, а потому, что мы пытаемся обратить внимание читателя на то, что происходит вокруг. Ведь кто, если не мы, сможет запечатлеть несовершенство мира, чтобы остановился читающий и посмотрел в это отражение, чтобы заметил, задумался, захотел изменить.